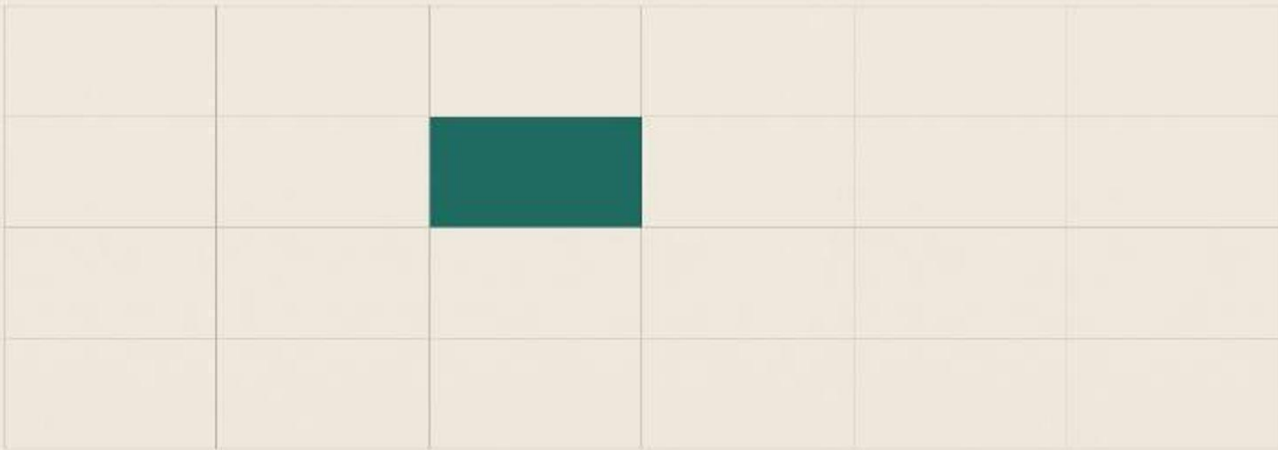




КНИГА ТРЕТЬЯ · РОМАН

РЕЛОКАЦИЯ

Чемодан — это ещё не свобода.



«Дом — это слово, которое не переводится. Его можно только произнести».

из этой книги

Александр Жарков

Релокация

«Автор»

2026

Жарков А. В.

Релокация / А. В. Жарков — «Автор», 2026

Лиза Ветрова уехала из Ольши в Тбилиси, чтобы не оглядываться: чужая страна, чужие стихи, кот, вино и мужчина, который поёт за столом. Когда умирает отец, она возвращается на похороны — и остаётся до осени. В отцовском кабинете находятся рукопись об истории города, вторая семья, семнадцатилетний сын, который не хочет ни дачи, ни наследства, и кредит в 1,8 миллиона: залог — дача, срок — сорок дней. Чтобы спасти дом, Лиза делает то, чего не делала никогда: перестаёт переводить чужие слова и начинает говорить свои. Роман о том, что дом не переводится, эмиграция не отменяет вины, а возвращение не всегда означает прощение — но иногда означает начало.

© Жарков А. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Маша	5
1. Тбилиси	7
2. Граница	11
3. Похороны	13
4. Дом	16
5. Костя	18
6. Ночь	20
7. Нотариус	23
8. Долг	26
9. Мать	29
10. Кабинет	31
11. Рукопись	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Александр Жарков

Релокация

«В этом городе знать три языка — ненужная роскошь. Даже без знания языка можно прожить».

Антон Чехов. Три сестры

«Дом — это слово, которое не переводится. Его можно только произнести».

Из этой книги

Пролог. Маша

В июне две тысячи десятого я играла Машу в «Трёх сёстрах» и видела зал лучше, чем следовало.

Зал был небольшой, двести восемьдесят мест, с красными креслами, которые скрипели, когда зрители меняли позу. Я знала этот скрип, как знают голос человека, с которым живёшь. В третьем ряду всегда сидела женщина из бухгалтерии, которая кашляла в самые важные паузы. В седьмом — моя мать, в синем платье, с прямой спиной. В двенадцатом — отец.

Отец пришёл с женщиной, которую я не знала.

Она была невысокая, в светлом платье, с волосами, собранными в узел. Рядом с ней сидел мальчик лет полутора — маленький, круглолицый, в белой рубашке, которая была ему велика. Мальчик держал отца за палец. Отец смотрел на сцену, но его рука была в руке мальчика, и это было заметно даже из-за кулис.

Я играла Машу, младшую сестру. У Маши было много слов и мало действий. Она говорила о том, что хочет уехать, что здесь невозможно жить, что жизнь проходит. Я говорила это каждый вечер, и каждый вечер мне казалось, что я говорю не текст, а правду.

В тот вечер я смотрела в двенадцатый ряд и думала: кто эта женщина?

Я забыла текст.

Не весь. Первую фразу я помнила. Я даже сказала её — что-то про то, что человек не может жить без надежды. А потом в голове открылась дверь, и за ней была пустая комната. Не слова. Не паузы. Только скрип кресла и чьё-то дыхание.

Зал ждал. Партнёр, игравший Вершинина, смотрел на меня с ужасом человека, который понимает, что сейчас придётся импровизировать всю жизнь.

И тогда из-за кулис раздался шёпот.

— Играй, — сказал Аркадий Борисович. — Потом разберёшься.

Я сказала первое, что пришло в голову:

— Я не хочу уезжать. Я хочу, чтобы всё, что здесь есть, стало другим.

Это была не реплика Чехова. Это была правда. Зал затих. Кто-то в первом ряду перестал дышать. Я пошла дальше и говорила ещё пять минут — про дом, про отца, про то, что человек может уехать, но не может перестать оглядываться.

Когда занавес закрылся, у меня дрожали руки. Аркадий Борисович вышел из-за кулис и сказал:

— Ты забыла текст.

— Я знаю.

— Но ты не остановилась.

— Вы же сказали.

— Я сказал играть. А ты сказала правду.

Он поправил мне воротник и ушёл. Через шестнадцать лет я узнаю, что это была лучшая рецензия в моей жизни.

После спектакля отец ждал меня у служебного входа. Женщины с ним уже не было. Был только он, в сером пиджаке, с книгой в руке.

— Ты хорошо играла, — сказал он.

— Я забыла текст.

— Я не заметил.

— Ты смотрел на сцену?

— Я смотрел на тебя.

Он протянул мне книгу. Это была история Тбилиси, старая, в твёрдой обложке, с картой на форзаце.

— Ты всё время говоришь, что хочешь уехать, — сказал он. — Вот. Читай.

— Почему Тбилиси?

— Потому что это город, который умеет помнить и не мстить.

Я взяла книгу. На первой странице была его рука: «Лиза. Чтобы ты знала, куда едешь. Папа».

— А кто была женщина? — спросила я.

Он посмотрел в сторону.

— Коллега. По архиву.

— А мальчик?

— Её сын.

— Почему он держал тебя за палец?

Отец помолчал.

— Потому что дети держатся за тех, кто рядом.

Он поцеловал меня в макушку и ушёл. Я стояла с книгой в руках и смотрела, как он садится в машину. На заднем сиденье уже сидел мальчик. Женщина села впереди. Машина уехала.

Я не рассказывала об этом матери. Я вообще ничего ей не рассказывала. Мне казалось, что если я не назову это вслух, то этого не будет.

Я уехала в Тбилиси через двенадцать лет. Но думала об этом с девятнадцати.

1. Тбилиси

В августе в Тбилиси было тридцать восемь градусов, и город делал вид, что это нормально.

Я сидела на балконе с ноутбуком и переводила стихотворение поэта по имени Гоги, который утверждал, что он не поэт, а «человек, который разговаривает с камнями». В его стихах было много камней, вина и бабушки, которая умерла в Кутаиси. Я переводила и думала, что грузинский язык устроен так, что в нём даже ругательства звучат как тосты.

На перилах сидел Чижик. Чижик был кот, но вёл себя как человек, который снимает квартиру и не платит. Он смотрел на меня с презрением, потому что я уже третий час не обращала на него внимания.

— Ещё двадцать минут, — сказала я.

Чижик моргнул.

— Пятнадцать.

Он отвернулся.

Внизу, во дворе, соседка Нино развешивала бельё. Бельё было белым, как облака, и висело между деревьями, как флаги страны, которой нет на карте. Нино крикнула:

— Лиза! Ты ела?

— Ела.

— Что ела?

— Кофе.

— Это не еда. Спускайся.

— Я работаю.

— Работа — это не еда.

Я спустилась. У Нино была кухня, в которой помещалось всё: стол, плита, телевизор, муж, дети, воспоминания и три вида зелени. Она налила мне суп и сказала:

— Ты похудела.

— Я всегда такая.

— Нет. Ты похудела. Это из-за мужчины?

— Из-за дедлайна.

— Это одно и то же.

Я ела суп и слушала, как она рассказывает про свою соседку, которая вышла замуж за итальянца и теперь ест пасту и «делает вид, что счастлива». Нино не одобряла пасту. Нино одобряла чахохбили, и в этом была вся её философия.

После супа я пошла к Левану.

Бар Левана назывался «Квеври» и находился в подвале старого дома на Абанотной. Внутри пахло вином, воском и мокрым камнем. Леван стоял за стойкой — большой, в льняной рубашке, с руками, которые умели делать всё: открывать бутылки, резать хлеб, обнимать людей и разговаривать с ними так, что они чувствовали себя умнее.

— Ты опоздала, — сказал он.

— Я работала.

— Ты всегда работаешь, когда не хочешь идти.

— Я всегда работаю.

— Это хуже.

Он налил мне вина. Оно было оранжевое, мутное, с запахом абрикоса и земли.

— Попробуй.

Я попробовала.

— Как?

— Как будто кто-то поцеловал камень.

— Это комплимент?

— Это описание.

Он засмеялся. У него был смех, который занимал всё помещение.

— Как Гоги? — спросил он.

— Гоги пишет, что камни помнят больше людей.

— Он прав.

— Он пишет это двадцать лет.

— Значит, он прав двадцать лет.

Мы сидели в баре до полуночи. Приходили люди: старик, который играл на дудке; женщина, которая торговала сыром; молодой программист, который уехал из Москвы и не мог объяснить, почему; две туристки, которые спрашивали, где можно увидеть «настоящую Грузию». Леван говорил с каждым так, будто они были его родственниками. Он наливал вино, резал хлеб, смеялся и не спрашивал, зачем они пришли. Он просто был там.

В час ночи зазвонил телефон. Мама.

Мама звонила редко. Она считала, что звонок — это вторжение, а вторжение — это проявление слабости. Она писала сообщения: «Позвони», «Я здорова», «Не забывай, что существует зима». Иногда присылала фотографии кота. Но не звонила.

Я вышла на улицу.

— Аллю.

— Лиза.

— Мама.

Она помолчала. В трубке было слышно, как работает телевизор.

— Отец умер, — сказала она.

Я стояла на улице, и мимо проходили люди, которые не знали, что у меня умер отец. Один мужчина нёс арбуз. Другой курил. Третья женщина смеялась так громко, что её смех казался неприличным.

— Как? — спросила я.

— Сердце. В кабинете. Он сидел за столом. Я нашла его через час.

— Он был один?

— Да.

— А...

Я хотела спросить про врача, про скорую, про то, почему она не позвонила раньше. Но спросила другое:

— Когда похороны?

— В четверг.

— Я приеду.

— Хорошо.

Она помолчала.

— Лиза.

— Да?

— Не опаздывай.

Она повесила трубку. Я стояла с телефоном и смотрела на арбуз. Мужчина с арбузом уже ушёл. Женщина, которая смеялась, тоже. Улица опустела.

Я вернулась в бар. Леван посмотрел на меня и всё понял. Он не спросил «что случилось». Он налил мне ещё вина и сказал:

— Пей.

— Я не хочу.

— Пей.

Я выпила. Вино было тёплое, и от него стало горько.

— Отец умер, — сказала я.

— Я понял.

— Я не чувствую ничего.

— Это нормально.

— Это не нормально.

— Это нормально для первого часа.

Он взял мою руку. Его рука была горячая и шершавая.

— Я поеду с тобой.

— Нет.

— Я не спрашиваю.

— Леван.

— Что?

— Это моя семья.

— Вот именно.

— Ты не знал отца.

— Значит, познакомлюсь.

— На похоронах?

— На похоронах люди говорят правду. Это лучший способ познакомиться.

Я засмеялась. Не потому, что было смешно. Потому что он сказал это так серьёзно, что иначе было нельзя.

— Я поеду одна, — сказала я. — Но ты можешь довезти меня до автовокзала.

— Это унижительно.

— Это компромисс.

— Хорошо. Но я дам тебе вино.

— Зачем?

— На поминки.

— Это не грузинские поминки.

— Все поминки грузинские, если в них есть вино.

Он проводил меня до дома. Я собрала рюкзак. Чижик сидел на нём и не давал застегнуть молнию.

— Я вернусь, — сказала я.

Он смотрел на меня с недоверием.

— Я правда вернусь.

Он мяукнул. Это было не согласие. Это было «посмотрим».

Я вышла в три часа ночи. На улице пахло пылью и виноградом. Где-то играла музыка. Тбилиси не спал, потому что в Тбилиси никто не спит, если можно не спать.

Автовокзал был пустой. Леван поставил сумку на асфальт и сказал:

— Если что, звони.

— Я позвоню.

— Не ври.

— Я позвоню.

— Хорошо.

Он обнял меня. Он пах вином, базиликом и тёплой кожей.

— Лиза.

— Да?

— Ты едешь домой.

— Я еду на похороны.

— Это одно и то же.

Я села в автобус. Окно было грязное, и город в нём был похож на плохую фотографию. Автобус тронулся. Я смотрела, как Леван становится меньше, пока не стал точкой, а потом и точка исчезла.

Я ехала домой и не знала, что это значит.

2. Граница

Автобус Тбилиси — Владикавказ отправлялся в четыре утра и ехал девять часов, если ничего не случалось, и двенадцать, если случалось всё.

В автобусе было двадцать два человека. Я знала это, потому что пересчитала их, пока ждала отправления. У меня была привычка считать людей: в метро, в очереди, на кладбище. Это помогало не думать о том, что я чувствую.

Рядом со мной сидела женщина с котом в переноске. Кот был чёрный, с белым пятном на груди, и он кричал так, будто его везли на казнь.

— Он всегда так? — спросила я.

— Всегда, — сказала женщина. — Он не любит дорогу.

— А вы?

— Я тоже. Но надо.

Она ехала к сыну в Нальчик. Сын был болен, и она везла ему кота, потому что «врачи говорят, что животные помогают». Я не стала спорить. Иногда люди везут кота, потому что больше нечего везти.

Впереди сидел мужчина с коробкой вина. Он вёз его в Осетию, «родственникам». Коробка была заклеена скотчем, и на ней было написано «Стекло. Осторожно». Мужчина всю дорогу проверял, не протекает ли.

За ним — молодой парень с наушниками, который спал с открытым ртом. Позади — две женщины, которые обсуждали, какая цена на гречку в Тбилиси и какая во Владикавказе. Гречка была дешевле во Владикавказе, и это их почему-то радовало.

Я смотрела в окно. За окном была темнота, в которой угадывались горы. Я знала, что они там, но не видела их. Как отца: я знала, что он есть, но не видела его четыре года.

Мы подъехали к границе в семь утра. Солнце уже встало, но в ущелье было холодно. Автобус остановился, и водитель сказал:

— Всем выйти. Паспорта.

Мы вышли. Очередь была длинная, но двигалась быстро. Грузинские пограничники были вежливы, почти приветливы. Русские — строги. Это была не политика. Это была погода.

Когда я подошла к окну, офицер посмотрел мой паспорт, потом на меня.

— Цель поездки?

— Похороны отца.

Он поднял глаза.

— Соболезную.

— Спасибо.

Он поставил штамп. Я прошла. За спиной женщина с котом объясняла, что кот не представляет угрозы. Кот кричал, подтверждая обратное.

В Владикавказе мы ждали автобус до Ольши три часа. Вокзал был маленький, с кафе, где продавали пирожки с картошкой и чай в пластиковых стаканах. Я купила пирожок и села на скамейку.

Позвонила мама.

— Ты где?

— На границе. В Владикавказе.

— Во сколько будешь?

— В пять.

— Похороны в четыре.

— Я не успею.

Она помолчала.

— Я так и думала.

— Мама.

— Что?

— Я еду.

— Я знаю.

Она повесила трубку. Я смотрела на пирожок. Он был холодный, и от него пахло маслом.

Автобус до Ольши был старый, с выцветшими шторами и сиденьями, которые помнили больше пассажиров, чем я. Я села у окна. За окном потянулись поля, потом лес, потом дома. Дома были деревянные, с резными наличниками, и в каждом дворе росла яблоня. Я знала эти яблони. Я ела их яблоки в детстве.

В пять часов автобус въехал в Ольшу. Город был маленький, но не такой, как в моей памяти. В памяти он был больше. В памяти он был миром. Теперь он был просто городом с площадью, рынком, Домом культуры и кладбищем.

На автовокзале меня никто не встретил. Я взяла такси. Водитель был пожилой, с усами и с радио, которое играло что-то из восьмидесятых.

— Куда?

— На Садовую, четырнадцать.

Он посмотрел на меня в зеркало.

— Вы дочь Виктора Андреевича?

— Да.

— Соболезную.

— Спасибо.

Он вёз меня молча. У дома он сказал:

— Он был хороший человек. Он мне помог, когда я искал документы на дом.

— Как помог?

— Нашёл в архиве. Доказал, что дом моего деда не сгорел, а был продан. Это долгая история.

— Он любил долгие истории.

— Да. И он их находил.

Он взял с меня меньше, чем было на счётчике. Я хотела дать больше. Он не взял.

— На поминки, — сказал он. — Купите цветы.

Я вышла у дома. Дом был тот же: деревянный, с верандой, с яблоней, которая выросла и закрыла половину окон. Дверь была открыта. В доме пахло пирогами и чужими людьми.

Я вошла.

3. Похороны

Я опоздала на сорок минут.

Кладбище было за городом, на холме, откуда была видна река. Когда я пришла, гроб уже опускали. Люди стояли вокруг ямы, и среди них была мама — в чёрном платье, с прямой спиной. Она не плакала.

Я остановилась в стороне. Я не знала, куда идти. Я не знала, можно ли подойти. Я вообще не знала, как вести себя на похоронах отца, которого не видела четыре года.

У ямы стояла женщина в светлом платье. Та самая. Она была старше, чем в две тысячи десятом, но я узнала её сразу. Рядом с ней стоял парень лет семнадцати, высокий, худой, с длинными пальцами, которые он сжимал в кулаки.

Женщина плакала. Парень не плакал. Он смотрел в яму так, как смотрят люди, которые не верят, что это происходит.

Я подумала: дальние родственники. Или коллеги. Или соседи. В маленьком городе на похороны приходят все.

Священник сказал несколько слов. Он говорил про человека, который «хранил память», и про то, что «земля примет его с миром». Я слушала и переводила в голове: с русского на русский. Это моя работа. Я перевожу слова так, чтобы они стали понятными. Иногда для этого нужно убрать половину.

Потом говорил историк из музея. Он сказал, что Виктор Андреевич был «последним человеком, который знал, где что лежит». Что он двадцать лет собирал архив. Что без него «город потерял бы свою память».

Мама смотрела в землю. Женщина в светлом платье вытерла глаза. Парень смотрел на маму.

Я подошла к маме. Она обернулась.

— Ты опоздала, — сказала она.

— Автобус.

— Я знаю.

Она взяла меня за руку. Её рука была холодная.

— Стой здесь, — сказала она.

Я стояла. Гроб опускали. Земля стучала о крышку. Это был самый громкий звук, который я слышала за год.

После похорон все пошли к дому. Я шла рядом с мамой. Женщина в светлом платье шла впереди, с парнем под руку. Парень обернулся и посмотрел на меня. У него были отцовские глаза. Я это заметила и сразу же запретила себе думать об этом.

Дома был накрыт стол. Пироги, салаты, водка, компот. Люди говорили тихо, как будто боялись разбудить кого-то, кто уже не спал.

Я села в углу и наблюдала. Я знала этот дом. Я знала каждую половицу, каждую фотографию на стене, каждую царапину на буфете. Но люди в нём были чужие. Они говорили о политике, о ценах, о том, что «раньше было лучше», и о том, что «Виктор Андреевич был настоящий». Они ели пироги и пили водку и не смотрели на меня.

Женщина в светлом платье подошла ко мне.

— Вы Лиза, — сказала она.

— Да.

— Я Тамара Сергеевна. Мы с вашим отцом работали в библиотеке.

— Я знаю. Он говорил.

Это была ложь. Он не говорил.

— Он много о вас говорил, — сказала она. — Он гордился вами.

— Спасибо.

Она помолчала.

— Я хотела сказать вам... — она запнулась. — Он умер не один.

Я посмотрела на неё.

— Что?

— Я была рядом. Я пришла к нему в кабинет. Он сидел за столом. Я подумала, что он спит.

Она замолчала.

— Он не спал.

Я смотрела на неё и чувствовала, как что-то внутри меня переворачивается.

— Вы были там?

— Да.

— Почему вы не позвонили сразу?

— Я позвонила. Я вызвала скорую. Они приехали через двадцать минут.

— Двадцать минут.

— В Ольше одна скорая. Она была на другом вызове.

Я кивнула. Я не знала, что сказать.

— Я не хотела, чтобы вы узнали так, — сказала она.

— Как?

— На похоронах.

Она смотрела на меня, и в её глазах было что-то, чего я не могла назвать. Не вина. Не страх. Что-то третье.

— Тамара Сергеевна, — сказала я. — Кто вы?

Она открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент к нам подошёл парень. Он взял её за руку и сказал:

— Мама. Пойдём.

Мама.

Я смотрела, как они уходят. Парень был выше её на голову. У него была отцовская походка — немного вразвалку, как будто он шёл по палубе.

Я подошла к маме. Она мыла посуду. Она всегда мыла посуду, когда не знала, что делать.

— Кто это? — спросила я.

— Кто?

— Женщина. Тамара.

Мама не обернулась.

— Коллега.

— У неё есть сын.

— У неё есть сын.

— Сколько ему?

— Семнадцать.

— Мама.

Она поставила тарелку.

— Что, Лиза?

— Почему он смотрит на тебя так, как будто ты его знаешь?

Мама вытерла руки.

— Потому что я его знаю.

Она посмотрела на меня.

— С семнадцати лет.

В доме было тихо. Люди за столом говорили о ценах. Я слышала, как на кухне капает вода.

— Мама, — сказала я. — Кто это?

Она взяла полотенце и повесила его на крючок.

— Это сын твоего отца.

Я стояла и слушала, как капает вода.

4. Дом

В Ольше не запирают двери. Запирают кабинеты.

Гости разошлись к девяти. Мать мыла посуду. Я взяла полотенце.

— Не надо, — сказала она. — Ты с дороги.

— Я не с дороги. Я с кладбища.

— Тем более.

Она мыла тарелки медленно, по одной, и ставила их в сушилку так аккуратно, будто они были чужие и она боялась их разбить. За окном темнело. Август в Ольше пахнет яблоками и пылью, а после дождя — ещё и мокрой землёй, которая почему-то всегда пахнет одинаково, в каком бы городе ты ни жила.

Я поднялась к себе. Моя комната осталась моей только по названию. На стене висела афиша «Трёх сестёр» — та самая, с нашими лицами, нарисованными углём. Настя с шалью, я с книгой, Тимур с самоваром, Гриша с черепом, Ася с крыльями, Марк с чемоданом. Под афишей стояла кровать, короткая настолько, что я спала на ней, согнув ноги, как в автобусе.

Я легла и стала слушать дом. Дом скрипел, вздыхал, где-то капала вода. В родительских домах всегда капает вода — это, наверное, единственный звук, который не меняется за тридцать пять лет.

Пахло отцом.

Не табаком — он не курил. Старой бумагой, клеем ПВА, валидолом и чем-то ещё, чему я не находила названия. Скорее всего, это был запах человека, который всю жизнь что-то подчёркивал карандашом и никогда не выбрасывал черновики.

В два часа сорок я спустилась на кухню. Там горел свет, и мать сидела над чашкой чая, который давно остыл. Она не пила, а держала чашку обеими руками, как грелку.

— Ты почему не спишь? — спросила я.

— Проверяю, заперла ли дверь.

— Заперла?

— Не знаю. Я проверяю её сорок лет.

Я села напротив. На столе лежали крошки, и мать машинально собрала их в ладонь.

— Мама, открой кабинет.

— Завтра.

— Почему не сейчас?

Она посмотрела на меня. У неё были сухие глаза — сухие с самого кладбища, и я не знала, хуже это или лучше.

— Потому что сейчас я ещё помню, как он туда входил.

Я не стала спорить. Я вообще не знала, как с ней разговаривать. Мы не разговаривали три года — не ссорились, нет, просто не звонили без повода, а поводов у нас не находилось. Теперь повод был, и он оказался слишком большим.

— Он умер там? — спросила я.

— Да.

— Ты его нашла?

— Нет. Его нашла Тамара.

Я поставила чашку. Чашка стукнула о блюдо громче, чем я хотела.

— Как она вошла?

— Через дверь.

— Через какую?

Мать помолчала. Потом сказала:

— Через ту, что во двор.

Я вышла в сад. Ночью яблоня кажется больше, чем днём, а трава — мокрее. Я прошла по дорожке, мимо бочки с дождевой водой, мимо старой скамейки, на которой отец чинил удочки, хотя на рыбалку не ездил лет двадцать.

В стене дома была дверь. Обычная деревянная дверь, выкрашенная зелёной краской, с облупившейся нижней планкой. Я помнила её всю жизнь. Я думала, что это дверь для дров.

Я подошла и положила ладонь на доску. Доска была холодная, шершавая, с занозой посередине. За дверью было тихо.

Всю жизнь я прожила в доме, где было два входа. Одним пользовались все. Вторым — один человек, и не я.

Когда я вернулась, мать всё ещё сидела на кухне. На столе перед ней лежал ключ. Маленький, латунный, с обмотанной синей изолентой головкой.

— Возьми, — сказала она. — Но не сегодня.

— Почему не сегодня?

— Сегодня я ещё не готова узнать, что ты там найдёшь.

Я взяла ключ. Он был тёплый — она держала его в кармане фартука.

— Что там?

— Его бумаги. И чашка.

— Какая чашка?

— Синяя, с трещиной. Он пил из неё всё время. Не мой её, пожалуйста.

— Почему?

Она встала и поставила чашку в раковину.

— Она ещё пахнет, — сказала она.

Я легла в свою короткую кровать и положила ключ под подушку, как в детстве кладут выпавший зуб. Всю ночь я проверяла, на месте ли он.

Я переводила договоры, стихи, меню, чужие письма. Я умела объяснить разницу между «house» и «home», между «родиной» и «местом рождения», между «уехать» и «уйти». В грузинском «сахли» — это и дом, и семья. Одно слово на две вещи, которые не переводятся друг в друга. Я пятнадцать лет говорила студентам, что это красивая метафора.

В ту ночь я впервые подумала, что это не метафора. Это диагноз.

5. Костя

Утром в половине девятого позвонили в дверь. Я открыла и увидела его на пороге — в чёрной футболке, с рюкзаком и полиэтиленовым пакетом, в котором что-то тяжело перекачивалось.

— Здравствуйте, — сказал он. — Мама просила передать.

Он протянул пакет. В пакете были отцовская кружка, папка с завязками и ключ.

— Это от кабинета, — сказал он. — У неё был свой.

Я взяла ключ. Он был точно такой же, как тот, что лежал у меня под подушкой, только без изолянта.

— У неё был свой ключ?

— С две тысячи девятого.

За моей спиной появилась мать. Она вытерла руки о фартук и сказала:

— Спасибо, Костя.

Он кивнул.

— Пойду.

— Сядь, — сказала мать. — Ты не поел.

Он посмотрел на неё. Она посмотрела на него. Это был не тот взгляд, каким смотрят на чужого мальчика. Это был взгляд женщины, которая знает, сколько сахара он кладёт в чай.

Он сел.

Мать поставила на стол сырники, варенье из райских яблок и чай. Он ел аккуратно, не торопясь, и держал вилку так, как держал отец — не сверху, а сбоку, будто собирался что-то подцепить и рассмотреть.

— Ты в художественную школу ходишь? — спросила мать.

— Ходил. Закончил в мае.

— Куда теперь?

— Никуда.

— Почему?

— Не хочу уезжать.

— От кого? — спросила мать.

Он не ответил. Только посмотрел на неё, и в этом взгляде было столько всего, что я опустила глаза.

Я не выдержала первой.

— Ты знал, что я есть?

— Конечно, — сказал он.

— А я о тебе узнала вчера.

— Он говорил, что ты знаешь.

— Он врал.

Костя положил вилку.

— Он врал всем, — сказал он. — Это была его профессия.

— Он был историком.

— Историки тоже выбирают, что рассказать.

Мать налила ему ещё чаю. Он сказал «спасибо» — не «спасибо, не надо», а просто «спасибо», и она налила.

— Он приходил к нам по вторникам и субботам, — сказал Костя. — Иногда в воскресенье, если был футбол.

— Футбол?

— Он не смотрел футбол. Он говорил, что смотрит. Они с мамой смотрели.

Я представила отца на чужом диване перед телевизором, с чужой чашкой в руках, и у меня заныло под ложечкой.

— А в остальные дни? — спросила я.

— В остальные дни он был ваш.

— А ты?

Он пожал плечами.

— А я был вторник и суббота.

Он сказал это без жалости к себе. Наверное, поэтому мне стало хуже.

Мать встала и начала мыть посуду. Она мыла её, хотя посуды было три тарелки, и я знала, что она делает это, чтобы не смотреть на нас.

— Костя, — сказала я. — Ты был на похоронах?

— Был.

— Я тебя не видела.

— Я нёс крышку.

Я замолчала. Он тоже. Мать перестала мыть посуду и стояла с тарелкой в руках, и вода текла из крана.

— Почему не в первых рядах? — спросила я.

— Потому что в первых были вы, — сказал он.

Он встал, взял рюкзак и пошёл к двери. Мать догнала его в прихожей и сунула в руки банку варенья и кусок пирога, завернутый в полотенце.

— Приходи в субботу, — сказала она. — Не на могилу. Сюда. Слышишь?

Он кивнул. Не пообещал — просто кивнул.

Я вышла за ним на улицу. У калитки стоял велосипед, старый, с высокой рамой и обмоткой на руле.

— Костя.

— Что?

— Покажи, что ты рисуешь.

Он помолчал. Потом достал из рюкзака альбом и открыл его на середине.

Это был Дом культуры. Не тот, каким он был в моей памяти, — а нынешний: с заколоченными окнами, с брезентом на крыше, с трещиной, которая шла от угла до карниза, как шов. На втором рисунке — крыльцо, ступени, разбитая плитка. На третьем — афиша за стеклом, и на афише угадывались пять фигур.

— Зачем тебе Дом культуры? — спросила я.

— Он просил.

— Отец?

— Да. Сказал: нарисуй, пока оно стоит. Как будто знал.

Он закрыл альбом, сел на велосипед и уехал. Цепь трещала, как сверчок.

Я вернулась в дом. Мать мыла четвертую тарелку.

— Он хороший мальчик, — сказала она.

— Ты его любишь?

— Я его кормлю.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который у меня есть.

6. Ночь

Вечером я не могла оставаться в доме. Я сказала матери, что пойду пройдуся, и она не спросила куда. В Ольше не спрашивают куда — всё равно узнают раньше, чем ты вернёшься.

Город был маленький и тёплый, как ладонь. На улице Ленина горели фонари, у магазина стояли два самоката, у шаурмичной ругались подростки. На площади перед администрацией крутился одинокий фонтан, и в нём плескалась собака.

Я шла мимо рынка, мимо школы номер семь, мимо парикмахерской, в которой моя мать стриглась сорок лет. Всё было на месте. Всё было меньше, чем я помнила.

Дом культуры стоял в конце улицы, за площадью. Я увидела его издалека — белый фасад, колонны, широкие ступени. В моей памяти он был огромным. Теперь он был просто большим.

Окна первого этажа были заколочены фанерой. На фанере кто-то написал баллончиком: «ВЕРНИТЕ СЦЕНУ». Над входом висел замок, а рядом — лист бумаги в файле: «Реконструкция здания. Вход запрещён». Внизу был телефон и логотип компании, которую я не знала.

Я подошла к ступеням. Между колоннами стоял сторож — пожилой мужчина в куртке поверх свитера, с термосом и собакой. Собака была маленькая, лохматая и очень занятая: она обнюхивала урну с таким видом, будто нашла там клад.

— Закрыто, — сказал сторож.

— Я вижу.

Он посмотрел на меня внимательнее.

— Ветрова?

— Да.

— Лиза? Маша?

Я кивнула.

— Дядя Паша, — сказала я. — Вы всё ещё здесь.

— А куда я денусь? — Он показал на собаку. — Вот, Сметана. Сторожу вместе.

Сметана подняла голову, посмотрела на меня и вернулась к урне.

— Когда закрыли? — спросила я.

— В июне. Крыша потекла, потом потолок в зале. Администрация сказала: денег нет. Приезжали, ходили с планшетами, всё мерили. Сказали: проще снести.

— Кто приезжал?

— Молодые. В костюмах. Один всё фотографировал, другой всё время говорил по телефону. Я слышал, как он сказал: «Здесь будет парковка».

Он налил мне чаю в пластиковый стаканчик. Чай был сладкий, крепкий, с запахом дыма.

— Можно внутрь? — спросила я.

— Нельзя.

Он помолчал.

— Но я глухой, — сказал он.

Внутри пахло пылью и мокрым деревом. В зале стояли стулья, накрытые плёнкой, и пианино, которое я помнила по репетициям. Я подошла и нажала одну клавишу. Звук вышел глухой, расстроенный, как будто пианино простудилось.

Я поднялась на сцену. Доски скрипели. Из-под пыли проступали следы разметки — белые полосы, которыми Аркадий Борисович отмечал мизансцены.

Я стояла в центре сцены и не помнила ни одной реплики. Шестнадцать лет назад я тоже забыла текст. Тогда за меня придумал Аркадий Борисович. Он сказал: «Играй. Потом разберёшься». Сейчас придумывать было некому.

— Я не помню, — сказала я вслух.

Зал ответил скрипом.

Я достала телефон. В Тбилиси было десять вечера, Леван должен был быть в баре. Он ответил после третьего гудка, и я услышала шум, музыку и чей-то голос: «Леван, вино кончилось!»

— Одну минуту, — сказал он в трубку. — Я выйду.

Хлопнула дверь. Стало тихо.

— Привет, — сказал он. — Ты где?

— В Доме культуры.

— В каком?

— В нашем. В Ольше.

Он помолчал.

— Ты уехала в среду, — сказал он. — Сегодня пятница. Ты не звонила.

— Я хоронила отца.

— Я знаю. Я ждал, что ты позвонишь.

— Я звоню.

— Да, — сказал он. — Звонишь.

Я села на край сцены, свесив ноги в зал.

— У него была другая семья, — сказала я. — Шестнадцать лет. Сын. Ему семнадцать.

Леван не сказал «не может быть». Не сказал «ты уверена». Он сказал:

— Как его зовут?

— Костя.

— А её?

— Тамара.

— Она была у него? На похоронах?

— Да. Она его нашла.

— Значит, она его любила, — сказал Леван.

Я хотела сказать, что это ничего не значит, что любовь не оправдание, что шестнадцать лет — это не любовь, а привычка, но ничего не сказала.

— Я не знаю, что мне с этим делать, — сказала я.

— Ничего, — сказал он. — Сначала надо похоронить.

— Я уже похоронила.

— Нет. Ты стояла рядом.

Я закрыла глаза. В зале пахло пылью, а в трубке — вином и Тбилиси.

— Я приеду, — сказал он.

— Не надо.

— Хорошо.

— Ты обиделся?

— Я грузин, — сказал он. — Я обижаюсь красиво и недолго.

Я засмеялась. Впервые за три дня.

— Леван.

— Да?

— Ты знал, что я умею играть Машу?

— Ты мне говорила. Ты говорила это так, будто это было в другой жизни.

— Так и было.

Мы попрощались. Я вышла на улицу, отдала дяде Паше стаканчик и пошла домой. Над Ольшей стояли звёзды, которых в Тбилиси не видно.

В шесть утра телефон запищал. Леван прислал фотографию билета: Тбилиси — Владикавказ, семнадцатое августа, автобус, место двенадцать.

И подпись: «Я не приеду. Я уже еду».

Дома горел свет на кухне. Я остановилась у калитки и услышала пианино. Мать играла тихо, одной рукой, какую-то мелодию, которую я знала с детства, но не могла назвать. Она играла и останавливалась, играла и останавливалась, будто забывала слова.

Я стояла под яблоней и слушала.

7. Нотариус

Утром мать надела чёрный костюм, который я видела на ней только на похоронах, и сказала:

- Ты не пойдёшь в джинсах.
- Мама.
- На оглашение.
- Он был историк, а не английская королева.
- Он был твой отец.

Я не стала спорить. Нашла в шкафу тёмное платье, которое было мне велико в плечах, и надела его. Платье пахло нафталином и чужим домом.

Нотариус принимал на втором этаже бывшего универмага, вход со двора. Над дверью висела табличка: «Нотариус С. М. Гринберг», а под ней — бумажный лист: «Приём по записи. Все вопросы — в письменном виде».

Кабинет был маленький и очень плотный. Стеллажи с папками, картонные коробки на полу, чайник на подоконнике, портрет пожилой женщины в рамке. На столе — стопка бумаг и две ручки, лежащие параллельно, как солдаты.

— Проходите, — сказал Гринберг. — Садитесь. Все садятся.

Он был сухой, аккуратный, в сером костюме, который помнил лучшие времена. Не смотрел в телефон, потому что телефон у него был кнопочный.

Тамара и Костя уже сидели у окна. Тамара была в сером платье, Костя — в белой рубашке, которая была ему велика. Он был похож на мальчика, которого заставили быть взрослым.

Мать села напротив Тамары и не поздоровалась. Тамара кивнула. Мать ответила таким же кивком — коротким, как точка.

— Документы, — сказал Гринберг.

Мы положили паспорта. Он открыл мой, посмотрел на фотографию, потом на меня.

— Здесь вы моложе.

— На семь лет.

— Это не документ о взрослости, — сказал он. — Это документ о времени.

Он разложил бумаги и надел очки.

— Виктор Андреевич приходил ко мне в мае, — сказал он. — Дважды. Первый раз — чтобы уточнить формулировки. Второй — чтобы подписать. Он был в курсе, что оставит после себя не только доброе имя.

Он читал медленно, ровным голосом, как читают инструкцию к лекарству.

Дом на Садовой, четырнадцать, где мы сидели вчера и будем сидеть потом, остаётся Нине Ивановне. Он и так был на неё записан, но Виктор Андреевич хотел, чтобы это было сказано вслух.

Дача в кооперативе «Заря», участок двенадцать, переходит дочери, Елизавете Викторовне.

Рукопись «Ольша: люди и судьбы» и все права на неё переходят сыну, Константину Викторовичу.

Право первой публикации рукописи — Елизавете Викторовне, если она согласится. Если не согласится, право переходит Константину Викторовичу.

— Почему? — спросила я.

— Так написано, — сказал Гринберг.

— Мне не нужна рукопись.

— Ему тоже был не нужен дом, — сказал он. — Тем не менее.

Он перевернул страницу.

Долг по договору займа от четырнадцатого марта две тысячи двадцать четвёртого года — солидарно обоим детям.

— Сколько? — спросила я.

— Один миллион восемьсот тысяч.

Мать не пошевелилась. Тамара опустила глаза. Костя смотрел в окно.

— Залог? — спросила я.

— Дача и участок. Страховка не покрывает. — Гринберг посмотрел на меня. — Вы знали о долге?

— Нет.

— Ваша мать?

— Знала, что он взял деньги, — сказала мать. — Не знала сколько.

— Знала, зачем? — спросила я.

— Он сказал: «Ниночка, это не для себя».

Гринберг достал ещё один лист.

— Кредитор — общество с ограниченной ответственностью «Ольховые земли». В июне они купили право требования у банка. Договор предусматривает срок исполнения — сорок дней с момента вступления наследства в силу. Сегодня пятнадцатое августа. Срок истекает двадцать четвёртого сентября.

— Почему сорок? — спросил Костя.

— Так написано в дополнительном соглашении.

— Кто его подписал?

— Виктор Андреевич. В июне.

— Почему сорок? — повторила я.

— Потому что банк дал тридцать, — сказал Гринберг. — А компания добавила десять. Они называют это уважением к памяти. Я называю это сорока днями, за которые они успеют всё оценить.

— Что будет, если мы не заплатим? — спросил Костя.

— Дача уйдёт с торгов.

— За сколько?

— За столько, за сколько нужно им.

Я положила руки на стол.

— Я отказываюсь.

Гринберг поднял брови.

— От дачи?

— От долга.

— Долг не отделяется от дачи, — сказал он. — Как человек не отделяется от пальто, которое он носил. Вы можете отказаться от всего наследства. Тогда дача уйдёт, рукопись останется у Константина, а ваша мать останется в доме, который записан на неё. Это единственная хорошая новость.

— А если я приму?

— Тогда у вас будет сорок дней и дом, который вы не сможете продать без земли.

— Почему не смогу?

— Потому что земля под дачей принадлежит «Ольховым землям». Дом — ваш. Земля — их. Долг — общий.

Костя засмеялся. Коротко, невесело.

— Он купил дом у людей, у которых покупал землю, — сказал он. — Гениально.

— Он пытался сохранить дачу, — сказал Гринберг. — В две тысячи двадцать четвёртом кооператив продавал землю. Он взял деньги у тех, кто её покупал. Это не гениально. Это отчаяние.

Тамара впервые подняла голову.

— Можно мне копию рукописи? — спросила она.

— Рукопись принадлежит Константину Викторовичу, — сказал Гринберг. — Спросите у него.

— Мама, потом, — сказал Костя.

Гринберг достал два конверта.

— Виктор Андреевич просил вручить после оглашения. — Он протянул один мне, другой Косте. — Читать можно дома. Не в машине.

Мой конверт был толстый. Я положила его в сумку и не стала открывать.

Когда мы вышли, солнце стояло прямо над улицей, и было жарко, как в августе, которым он был. Тамара остановилась на крыльце.

— Лиза, — сказала она.

Я обернулась.

— Я не приду к вам. Но если захотите — я живу на Клубной, шесть, квартира три.

— Зачем мне приходить?

Она посмотрела на меня спокойно, без вызова.

— Чтобы увидеть, как он жил.

— Я знаю, как он жил.

— Вы знаете, как он жил с вами, — сказала она.

Мать взяла меня под руку. Она не делала этого много лет.

— Пойдём, — сказала она.

Мы шли по улице, и я чувствовала, как её пальцы впиваются мне в локоть.

— Ты знала адрес? — спросила я.

— Нет.

— А что знала?

Она помолчала.

— Что он не один, — сказала она. — Всё остальное я не хотела знать.

Мы дошли до перекрёстка. Мать остановилась.

— Дачу не продавай, — сказала она.

— Почему?

— Потому что там его архив.

— Рукопись у Кости.

— Там ещё одна, — сказала мать.

8. Долг

В понедельник я поехала на Заводскую, 2. Офис «Ольховых земель» занимал второй этаж нового здания с зеркальными окнами и вывеской, на которой было нарисовано дерево с золотыми листьями.

Меня встретил молодой человек в дорогих кроссовках и рубашке, заправленной в джинсы. Его звали Максим. У него был планшет, кофе и голос человека, который никогда не повышает голос, потому что ему это не нужно.

— Елизавета Викторовна? — сказал он. — Проходите. Чай? Кофе? У нас есть зелёный, чёрный и какой-то из коробки.

— Воды.

— Как хотите.

Кабинет был светлый, с растениями в кадках и постером на стене: «Ольша — город для жизни». На постере были нарисованы коттеджи, река и счастливая семья на велосипедах.

Максим открыл на планшете файл.

— Итак. Договор займа от четырнадцатого марта две тысячи двадцать четвёртого. Сумма — один миллион восемьсот тысяч. Проценты, к сожалению, набежали. Сейчас к погашению — миллион восемьсот сорок две тысячи.

— К сожалению?

— Я не люблю проценты, — сказал он. — Я просто работаю в компании, где они есть.

— Удобно.

— Не очень. Но честно.

Он откинулся на стуле.

— Мы не враги, Елизавета Викторовна. Мы предлагаем решение. Компания готова выкупить дачу с участком за два миллиона триста тысяч. Долг гасится, вам остаётся около четырёхсот тысяч после налогов. Вы уезжаете свободным человеком.

— Дача не продаётся.

— Все так говорят.

— Я не все.

— Это правда. — Он улыбнулся. — Но дача — это не человек. У неё нет чувств. У неё есть кадастровая стоимость.

Он повернул планшет. На экране был проект: аккуратные домики с черепичными крышами, дорожки, фонари, пруд с утками.

— «Ольховые холмы», — сказал он. — Первая очередь — сорок восемь участков. Вторая — ещё тридцать. За «Зарёй» — лес, река, всё как вы любите.

— А Дом культуры?

— Дом культуры мы приводим в порядок.

— Снесите?

— Реконструируем.

Он перелистнул. На рендере Дом культуры был неузнаваем: стеклянный фасад, вывеска «Olsha Hall», парковка на месте старых лип.

— Это не Дом культуры, — сказала я.

— Это его новая жизнь.

— С магазином.

— С пространством для мероприятий. Свадьбы, корпоративы, концерты.

— В Ольше?

— В Ольше теперь ездят на свадьбы из Москвы, — сказал он. — Вы давно не были.

— Я была в четверг.

Он посмотрел на меня внимательно.

— Соболезную.

— Спасибо.

— Ваш отец был у нас в апреле, — сказал он. — Просил рассрочку. Мы пошли навстречу.

Дали год.

— Почему?

— Он был убедителен. И он был болен.

— Чем?

— Сердце. Он сказал, что ему нужно закончить книгу.

— Он закончил?

Максим помолчал.

— Не знаю. Но он сказал, что если не закончит, то всё было зря.

Я взяла со стола копию договора. Листы были гладкие, тёплые от принтера.

— Зачем ему был нужен этот заём?

— Целевой. Выкуп земельного участка.

— У кого?

— У кооператива.

— А кооператив продавал вашу землю?

— Мы выкупили права, — сказал он. — Это законно.

— Я не спрашиваю, законно ли. Я спрашиваю, как это называется.

Максим положил планшет на стол.

— Это называется рынком, Елизавета Викторовна. Ваш отец хотел сохранить дачу. Мы дали ему деньги, чтобы он её сохранил. Он не успел вернуть. Это грустно, но это не наша вина.

— А чья?

— Ничья, — сказал он. — Так бывает.

Я встала.

— Если мы заплатим, что будет?

— Дача останется вашей. Земля останется нашей. Аренда — до две тысячи пятидесятого.

Если захотите продать, мы первые в очереди.

— То есть мы будем жить на вашей земле.

— Вы будете жить на своей даче, — сказал он. — Это разные вещи.

Я вышла на улицу. Солнце било в стекло остановки, и на другой стороне дороги висел тот же постер: «Ольша — город для жизни». На постере Дом культуры был стеклянным.

Я позвонила Косте. Он ответил не сразу.

— Где ты? — спросила я.

— В Доме культуры.

— Тебя туда пускают?

— Дядя Паша пускает.

— Костя. Нам дают два миллиона триста.

Он помолчал.

— За дачу?

— За дачу и землю. Долг гасят, остаётся четыреста тысяч.

— Он не продавал.

— Он умер.

— Это не причина.

— У нас сорок дней.

— Значит, у нас сорок дней.

Я приехала к Дому культуры. Костя сидел на ступенях с альбомом на коленях. Рядом лежал уголь, тот самый, которым он рисовал, — чёрный, мягкий, с обломанным концом.

Я села рядом. Мы долго молчали. На площади играли дети, кто-то катал коляску, у ларька жарили шаурму, и запах был такой, будто в городе всё ещё шла обычная жизнь.

— Они хотят сделать здесь «Olsha Hall», — сказала я.

— Я видел картинку, — сказал Костя. — Она висит в администрации.

— И что ты думаешь?

— Что они не знают, где сцена.

Он открыл альбом на новой странице. Там был нарисован Дом культуры — с людьми на ступенях. Много людей, взрослые и дети, кто-то с зонтом, кто-то с собакой.

— Это когда? — спросила я.

— Это когда мы будем читать.

— Кто будет читать?

— Он хотел, чтобы читали.

Я посмотрела на него.

— Ты знаешь, что в рукописи?

— Я знаю, что она толстая.

— А документ?

Он отложил уголь.

— Он говорил про какой-то документ. Что земля под Домом культуры не принадлежала заводу. Что её отдали городу, а потом кто-то её «потерял». Он говорил, что это важно.

— Для чего?

— Чтобы дом не снесли.

Я взяла у него уголь. Он был тёплый от его ладони.

— Нарисуй что-нибудь, — сказал он.

— Я не умею.

— Все умеют.

Я нарисовала дом. Квадрат, крыша, окно. Без двери.

Костя посмотрел.

— Почему без двери?

— Потому что я не знаю, где вход.

Он взял уголь и пририсовал дверь. Потом ещё одну. И ещё.

— Теперь их много, — сказал он. — Найдёшь.

9. Мать

Вечером мать гладила отцовские рубашки. Я застала её за этим занятием: утюг, доска, стопка рубашек, коробка на полу.

— Зачем? — спросила я.

— Отдам в церковь.

— Он не верил.

— Тем более.

Я села на табуретку. Утюг шипел. Мать складывала рубашки так, как складывала их тридцать лет: воротник, рукава, пополам, ещё пополам.

— Мама, почему ты не ушла?

Утюг остановился.

— Когда?

— Когда узнала.

Она поставила утюг на подставку.

— Я узнала, когда мальчику был год. Он пришёл домой, и в кармане у него была детская варежка. Синяя, с помпоном. Он сказал: «Это с работы». А работа была историческая.

Она взяла следующую рубашку.

— Я постирала её и положила на батарею. Потом поехала на рынок. И увидела их. Он держал мальчика на руках, а она покупала яблоки. Тамара. Он называл её Тома.

— Ты подошла?

— Я стояла у рыбного прилавка и смотрела на сома. Видимо, у меня было такое лицо, что продавщица спросила, всё ли хорошо. Я сказала: «Да, беру сома». И купила сома. Полтора килограмма.

— И что потом?

— Потом я пришла домой и сварила уху. А он пришёл в семь. И мы сели ужинать.

Она разгладила рукав.

— Он спросил: «Что у нас на ужин?» Я сказала: «Рыба». Он сказал: «Хорошо». И всё.

— Ты ничего не сказала?

— А что я должна была сказать?

— Всё.

— Я не знала слов, — сказала мать. — Я знала только, что у меня есть ты. Тебе было девятнадцать. Если бы я ушла, мы бы остались в общежитии или у бабушки в Шеломове. Бабушка пила. Ты бы не сыграла Машу. И ты бы всю жизнь помнила, что твой отец ушёл к другой.

Я молчала.

— Я решила, что выращу тебя, а потом разберусь. Потом ты выросла и уехала. Потом было поздно.

— Ты жалеешь?

— Каждый день, — сказала она. — И ни разу.

Она погладила рубашку и сложила её.

— Я не простила. Я перестала считать. Это не одно и то же.

— А он?

— Что он?

— Он просил прощения?

— Один раз. В две тысячи четырнадцатом, когда умерла его мать. Он сказал: «Нина, прости меня». Я сказала: «За что?» Он сказал: «Ты знаешь». Я сказала: «Нет». Он больше не просил.

— Почему ты не дала ему уйти?

Мать посмотрела на меня.

— А ты бы хотела?

Я не ответила.

— Ты бы хотела, чтобы я его выгнала, — сказала она. — Чтобы был виноватый. Чтобы можно было его ненавидеть. Я тоже этого хотела. Но тогда ты бы выросла без отца, а я — с ненавистью. Я выбрала отца.

— И что, это было лучше?

— Не знаю, — сказала она. — Но ты выросла. И ты уехала. Значит, что-то получилось.

Она выключила утюг.

— Он оставил тебе не только долги, — сказала она. — Иди в кабинет. Но не жди, что он всё объяснит. Он не умел объяснять. Он умел рассказывать.

— Мама.

— Что?

— А варежка?

Она посмотрела на меня.

— Какая варежка?

— Синяя. С помпоном.

Мать помолчала. Утюг давно остыл, но она всё ещё держала руку на ручке.

— Я её выбросила, — сказала она.

— Куда?

— В мусор. А ночью достала.

— Зачем?

— Не знаю. Наверное, чтобы было доказательство.

— Ты кому-то показывала?

— Никому. Она лежит в коробке. Вон там.

Она кивнула на коробку у стены. Я посмотрела на коробку. Обычная картонная коробка из-под обуви, перевязанная бечёвкой.

— Показать? — спросила мать.

— Не надо.

— Правильно. Доказательства нужны, когда уже поздно.

Она выключила утюг и сняла с доски последнюю рубашку.

— Иди, — сказала она. — Кабинет открыт.

Я взяла ключ, который лежал под подушкой, и пошла в кабинет. У двери я остановилась. За дверью было тихо, но не так, как в пустой комнате, а так, как бывает, когда человек только что вышел и ещё не вернулся.

Я вставила ключ и повернула.

10. Кабинет

Первое, что я увидела, была чашка. Синяя, с трещиной по краю, она стояла на столе рядом с бумагами, как будто он только что отставил её и собирался вернуться.

Я включила лампу.

Кабинет был маленький, но в нём помещалось всё: письменный стол, стеллаж до потолка, старый диван с продавленным сиденьем, карта Ольши на стене. На карте были отмечены улицы, которых давно не было, и дом культуры был обведён красным карандашом.

Я села в его кресло. Кресло скрипнуло. На столе лежали очки, блокнот, три карандаша — два простых и один красный, — и коробка с кнопками. Пыли не было. Мать вытирала здесь каждую неделю, но чашку не мыла.

Я открыла верхний ящик. Ручки, скрепки, степлер, старый калькулятор. Второй ящик: папки. Третий был заперт. На связке, которую я взяла из-под подушки, был маленький ключ. Он подошёл.

В третьем ящике лежали лекарства. Валидол, нитроглицерин, ещё какие-то таблетки в белых блистерах. Под ними — письмо из клиники, датированное апрелем две тысячи двадцать шестого. Я прочитала первую строчку и остановилась.

«Рекомендована госпитализация в плановом порядке. Повторный инфаркт миокарда...»

Он не лёг.

Я отложила письмо. Под ним был конверт с фотографиями. Я открыла его.

На первом фото были мы в две тысячи десятом — пятеро молодых людей на сцене, ещё в костюмах, и Аркадий Борисович в центре, с поднятыми руками. На втором — мать в саду, молодая, в ситцевом платье. На третьем — я в Тбилиси, на балконе, с чашкой кофе. Я не помнила, кто это снимал. Наверное, он приезжал. Или просил кого-то.

На четвёртом была Тамара. Она стояла у книжного шкафа, с книгой в руках, и улыбалась не в камеру, а кому-то за кадром.

На пятом был Костя. Семь лет, в коротких шортах, с ободранной коленкой. Он держал рисунок — дом с трубой и дымом.

Я положила фотографии обратно.

В папке с надписью «Лиза» лежали рецензии на мои переводы, распечатки интервью, программа спектакля «Три сестры» и листок с его почерком: «Она забыла текст. Я гордился больше, чем если бы она его помнила».

В папке с надписью «Костя» были рисунки, табель за девятый класс и фотография, где он спал за столом, положив голову на альбом.

Под папками лежала рукопись. Толстая, перевязанная бечёвкой, с бумажной наклейкой: «Ольша: люди и судьбы».

А под ней — ещё одна. Тонкая, в дерматиновой обложке. На обложке рукой отца было написано: «Дневник. 2009–2026».

Я открыла дневник на середине.

«Июнь 2010. Сегодня Лиза играла Машу. Я сидел в двенадцатом ряду с Тамарой и Костей. Я хотел, чтобы она меня увидела. И боялся, что увидит. Она забыла текст. Аркадий что-то крикнул из зала, и она сыграла так, что у меня перехватило горло. После спектакля я подарил ей книгу про Тбилиси. Она сказала: „Папа, ты был?“ Я сказал: „Нет. Но ты будешь“».

Я перевернула страницу.

«Апрель 2024. Взял деньги. Тома спросила, зачем. Я сказал: чтобы дом остался домом. Она сказала: „Дом — это не стены“. Я сказал: „Иногда стены — это всё, что осталось“».

Я перевернула ещё.

«Май 2026. Врач говорит, что нужно лечь. Я не лягу. Если я лягу, они придут и всё заберут. Пока я хожу, они ждут. Я допишу книгу. Пусть прочитают. Не для меня. Для города».

Последняя запись была короткой.

«Август 2026. Сегодня болело меньше. Написал главу про Костю. Не знаю, прочитает ли он. Если прочитает — пусть не сердится. Я был не самым лучшим отцом. Но я был отцом».

Я перевернула последнюю страницу. В заднем кармане обложки лежала фотография — та же, что была в конверте: пятеро на сцене. На обороте его рукой было написано: «Если они когда-нибудь сыграют снова, я приду. Даже если не смогу».

Я закрыла дневник.

В доме было тихо. Где-то на улице лаяла собака. Я взяла синюю чашку и пошла на кухню. Мать уже спала.

Я налила чай, села за стол и выпила его из его чашки. Чай был горький. Наверное, от пыли. Или от того, что я пила из чужой жизни.

11. Рукопись

Костя пришёл утром. Я разложила рукопись на кухонном столе — она заняла весь стол и ещё половину подоконника.

— Шестьсот четырнадцать страниц, — сказал он. — Я считал.

— Ты её читал?

— Местами. Он читал вслух.

Мать чистила картошку у раковины. Она не обернулась, но я видела, что она слушает.

На первой странице было написано:

«Ольша: люди и судьбы.

Опыт частной истории.

Виктор Ветров»

Ниже — эпиграф: «Город — это люди, которые помнят. Остальное — адрес».

Я перевернула страницу. Оглавление: «Река», «Комбинат», «Школа», «Дом культуры», «Синагога», «Война», «Раскулачивание», «Пленные», «Рынок», «Дачи», «Отъезд», «Возвращение».

— Двенадцать глав, — сказал Костя. — Он писал двадцать лет.

— Почему не издал?

— Он пытался. В две тысячи девятнадцатом отправил в Москву. Ему ответили, что «локальная история не имеет коммерческого потенциала».

— Кто ответил?

— Какое-то издательство. Он показывал мне письмо. Он смеялся. Он говорил: «Локальная история — это история всех, только в одном месте».

Я открыла главу «Дом культуры». Она начиналась с две тысячи пятьдесят седьмого года.

«Дом культуры построили за одиннадцать месяцев. Комбинат дал кирпич, горсовет — землю, молодёжь — руки. Архитектор приехал из Калинина, фамилию его не сохранили. Он хотел, чтобы в городе было место, где можно не работать».

Дальше — фотографии: строители на лесах, первый концерт, афиша фильма, детский кружок, ёлка в фойе. На одной фотографии был мальчик с самоваром. Я узнала Тимура.

Я читала дальше. Про то, как в девяностые Дом культуры хотели продать, но не продали. Про то, как в две тысячи десятом Аркадий Борисович поставил «Трёх сестёр». Про то, как в две тысячи двадцать пятом умер Аркадий и дом остался без хозяина.

В конце главы был абзац:

«В две тысячи двадцать шестом году этот дом собираются снести. Я пишу эту книгу, чтобы у города был шанс узнать, что он теряет. Если книга не выйдет, у города останется память. Память — это тоже документ, но её нельзя предъявить в суде».

— Дальше, — сказал Костя.

— Что дальше?

— Последняя глава.

Я перевернула страницу.

Глава называлась «Вторник и суббота».

«У меня есть сын. Его зовут Константин. Ему семнадцать. Я видел его по вторникам и субботам, и все эти годы мне казалось, что я обкрадываю сразу двоих — его и дочь. Он рисует дома. Он не знает, что я горжусь им так же, как гордился бы, если бы он был моим единственным сыном. Я не знаю, как это сказать. Поэтому я пишу».

Костя вышел из кухни. Хлопнула дверь на веранду.

Мать перестала чистить картошку.

— Дальше есть про тебя, — сказала она.

— Ты читала?

— Он читал мне вслух. По субботам. Когда возвращался.

— Он читал тебе?

— Он читал мне то, что не мог сказать.

Я нашла главу «Отъезд».

«Моя дочь уехала в Тбилиси в две тысячи двадцать втором. Я не звонил, потому что боялся услышать, что ей там хорошо. Потом понял, что это и есть родительское счастье — когда тебе больно от того, что ребёнку хорошо без тебя.

Я остался сторожить место. Она уехала, чтобы у места был смысл. Мы оба делали одно и то же, только в разные стороны».

Я закрыла рукопись.

На веранде Костя стоял у перил и смотрел в сад. Я подошла и встала рядом.

— Он написал про меня, — сказал он. — Целую главу.

— Да.

— Я не знал.

— Я тоже.

Он вытер лицо ладонью.

— Что там в конце? — спросил он.

— Документ.

— Какой?

Я вернулась в дом и достала из-под рукописи конверт. В нём была копия решения исполнительного комитета Ольшанского городского Совета депутатов трудящихся от двенадцатого марта тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Копия была старая, с печатью и размытой подписью. В ней говорилось, что земельный участок по улице Строителей передаётся городу под строительство Дома культуры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.